



В. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ

Философские мотивы в русской поэзии

Глава III Ф. И. ТЮТЧЕВ (1803—1873)

После Пушкина русская поэзия расцвела с необычайной силой, выдвинувши таких первоклассных поэтов, как Тютчев и Лермонтов. Поистине это был золотой век русской поэзии. Но Тютчев стоял ближе к Пушкину и по годам (был моложе Пушкина всего на 4 года) и потому, что в его удивительном творчестве поэзия поднялась даже выше, чем она была выражена Пушкиным. Но талант Пушкина был шире, разностороннее, а главное — самобытнее; Тютчев же в очень большой степени был связан не столько с русской стихией, сколько со всей немецкой романтикой. Оставаясь ярким и самостоятельным в своих поэтических переживаниях, Тютчев все же был теснейшим образом связан с немецкой романтикой*.

В Тютчеве очень трудно отделить его поэтические прозрения от работы его мысли; некоторые из самых замечательных его стихотворений представляют превосходную поэтическую обработку мыслей, рождавшихся независимо от поэтических прозрений его. Между прочим, это обстоятельство очень затрудняло и затрудняет надлежащую оценку творчества Тютчева. Первоклассный поэтический талант его облекал в удачнейшие стихи то, что рождалось в работе мысли, — поэзия слишком часто была к услугам именно мысли Тютчева. Для нашей цели — раскрытия философских мотивов, которые проявлялись в поэтических интуициях, поэзия Тютчева особенно трудна для анализа. Достаточно, например, прочесть интереснейшую ста-

* Смотри об этом обстоятельную статью проф. Чижевского «Tutchev und die deutsche Romantik» (*Zeitschr. für Slav. Philologie*. 1927).

тью Вл. Соловьева о Тютчеве, чтобы сразу почувствовать, что Соловьев (а за ним и другие исследователи Тютчева) просто не различал у Тютчева его поэтической интуиции от поэтической обработки чисто мыслительных построений. Если взять, например, знаменитые и действительно прекрасные стихи Тютчева:

Не то, что мните вы, природа... —

чтобы сразу увидеть, что в основе их лежит вовсе не поэтическая интуиция, а работа мысли, нашедшая затем в стихах свое выражение, — разве только в словах о природе: «в ней есть душа, в ней есть **свобода**», в последнем утверждении о природе есть отзвук собственных интуиций Тютчева, как это мы увидим дальше.

Тютчев был, конечно, серьезным и глубоким мыслителем, во многом самостоятельным, — и эта работа мысли наполняла его душу, лишь иногда выражаясь в превосходно сделанных стихах. Не этой ли работой мысли Тютчев и привлекал к себе сердца людей, мировоззрение которых было созвучно с мыслями Тютчева (Л. Толстой, Вл. Соловьев, Тургенев)? Если к этому присоединить совершенство формы, то станет понятным тот ореол, который окружает Тютчева доньше.

Но у Тютчева были и настоящие, глубокие и властные поэтические интуиции, которые нам, в настоящем этюде, и важны в первую очередь. Он сам хорошо сказал:

Есть целый мир в душе моей
Таинственно-волшебных дум.

Тютчев умел «слышать» в себе эту внутреннюю жизнь души, и отсюда непобедимое очарование почти всех его стихотворений. Чтобы разобраться в диалектике этих «таинственно волшебных дум» Тютчева, надо исходить, однако, не из переживания хаоса в бытии (как это делает, например, Вл. Соловьев), а из переживаний Тютчева о соотношении человеческого «я» и мирового бытия. Вот замечательное (одно из лучших) стихотворение Тютчева, которое передает эту основную для него интуицию:

Тени сизые смешались,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...

.
Час тоски невыразимой!
Все во мне, и я во всем!..

Сумрак тихий, сумрак сонный,
 Лейся в глубь моей души,
 Тихий, томный, благовонный,
 Все залей и утиши...

.....

Дай вкусить уничтоженья,
 С миром дремлющим смешай!

Чудные стихи — и какое удивительное переживание: «Все во мне, и я во всем»! Не только призрачность человеческого «я» выражена здесь с предельной «тоской невыразимой», но и странная потребность совсем забыть себя: «Дай вкусить уничтоженья», т. е. уничтожения «я».

Здесь, по-моему, ключ к «таинственно волшебным думам» Тютчева, — и это, конечно, меньше всего пантеизм (как нередко характеризуют основные установки у Тютчева*). На тему о призрачности нашего «я» много и часто писал Тютчев:

О, нашей мысли обольщенье,
 Ты, человеческое я!

Мы только «льстим» себе, обольщаем себя тем, что наше я обладает каким-то своим, нерушимым бытием, а на самом деле это только обманчивое представление.

О, вещая душа моя,
 О, сердце полное тревоги,
 О, как ты бьешься на пороге
 Как бы двойного бытия!..

Пустоте и призрачности нашего «я» изредка противостоит образ Христа — воплощенного Личного бытия:

Душа готова, как Мария,
 К ногам Христа навек прильнуть,

но чаще из призрачности нашего «я» вытекает у Тютчева желание «раствориться» во «всем»:

Дума за думой — волна за волной,
 Два проявленья стихии одной.
 Тот же все вечный прибой и отбой,
 Тот же все призрак тревожно-пустой.

* Франк говорит в своем этюде «Космическое чувство в поэзии Тютчева» (сборник «Живое знание») о «явственном пантеизме Тютчева» и вовсе не о восприятии хаоса в бытии (что было для Тютчева вторичным, а вовсе не исходным).

И так понятны в свете этого слова Тютчева:

Все во мне, и я во всем.

Эта неотделимость нашего я от космоса, столь чуждая христианскому восприятию человека в его утвержденности (каждого «я») в вечном бытии, — это и есть как бы центральное поэтическое созерцание у Тютчева.

Сюда присоединяется «философия ночи»¹, все романтическое учение о *Nachtseite der Seele**, которое укрепило и углубило поэтическое восприятие у Тютчева призрачности нашего «я». Но «философия ночи» только примкнула к основному у Тютчева восприятию призрачности нашего «я». Все же романтическое воззрение, что день как бы закрывает от души подлинное бытие, что лишь ночью душа освобождается от этого «давления», перешло к Тютчеву и дало место ряду чудных его стихотворений, в которых глубина мысли соперничает с яркостью образов:

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь, и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,
И мы плывем, *пылающею бездной*
Со всех сторон окружены.

Не менее ярко и глубоко другое стихотворение:

На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.

Но меркнет день, настала ночь;
Пришла — и с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Сорвав, отбрасывает прочь...

И бездна нам обнажена
С своими страхами и иглами,
И нет преград меж ей и нами:
Вот отчего нам ночь страшна!

Это подлинное и глубокое переживание у Тютчева, который нашел свои слова, свои образы для «философии ночи». Немец-

* ночной душе (нем.). — Ред.

кие романтики порой рассматривали ночь как «откровение Вечности». Тютчев же предпочитает говорить о «бездне» или «хаосе». В стихотворении «Ночные голоса» он говорит:

Иль смертных дум, *освобожденных сном*,
Мир бестелесный, слышный, но незримый
Теперь роится в хаосе ночном?

Стремоухов, в своей прекрасной книге о Тютчеве * говорит, что у Тютчева мы скорее находим панпсихизм, чем пантеизм. Что пантеизма вовсе нет у Тютчева — это бесспорно, но вовсе нет и панпсихизма, который своей внутренней диалектикой связан (уже у Лейбница, тем более у русских неолейбницианцев) с персонализмом — между тем для Тютчева характерен как раз имперсонализм, чувство «безличности» человека.

Природа знать не знает о былом **,

Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Самих себя лишь *грезю* (!) природы.
Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный, (!!!)
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.

Это есть чистейший имперсонализм — и вот еще одна иллюстрация этого:

Как хорошо ты, о море ночное!
Здесь лучезарно, там сизо-темно...
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно.
В этом волнении, в этом сиянии
Весь как во сне, я потерян стою.
О, как охотно бы в их обаяньи
Всю потопил бы я душу свою!

В личной жизни Тютчев жил напряженной и даже страстной жизнью, — но все это он охотно «потопил» бы перед лицом жизни природной! Какой тут панпсихизм, когда собственную психику Тютчев готов «потопить» в жизни природной...

* *Stremooukholf*. La poesie et l'ideologie de Tioutcheff. Strasbourg, 1937.

** Природа не знает, не вмещает, по Тютчеву, историю, историческое бытие. Так космизм поглощает у него всю богатую, сложную жизнь, которая заполняет историю.

Но мы уже упомянули, что в отношении природы Тютчев довольно смело утверждает, что «в ней есть душа, в ней есть свобода». Насчет «души мира» в других местах он ничего не говорит, но о свободе в природе мы узнаем кое-что из других его стихов. Самое замечательное стихотворение, говорящее о какой-то «свободе», касается ветра:

О чем ты воешь, ветр ночной,
 О чем ты сетуешь безумно?
 Что значит странный голос твой,
 То глухо-жалобный, то шумный?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке.

Два последние стиха есть подлинное поэтическое восприятие, — они не выдуманы, они лишь выражают сознание («понятным сердцу языком») того, что в природе есть какая-то мука...

Но дальше идет речь уже о человеческой душе:

О, страшных песен сих не пой
 Про древний хаос, про родимый!

Эти странные слова становятся еще более странными в дальнейшем:

Как жадно мир души ночной
 Внимает повести любимой!
 Из смертной рвется он груди
И с беспредельным жаждет слиться.

(опять имперсонализм!). Но конец еще более неожиданный:

О, бурь уснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!..

Комментарии, какие дает Вл. Соловьев (в своей статье о поэзии Тютчева) этим стихам, по правде сказать, не имеют никакого отношения к Тютчеву и всецело объясняются софиологической концепцией Соловьева (во второй ее редакции). Но если вдуматься в приведенные слова Тютчева, который в данном случае ничего не «сочиняет», а просто выражает непосредственную интуицию, то вот какой смысл они в себе содержат:

Вот первый комментарий из другого стихотворения:

Одни зарницы огневые
 Воспламеняясь чередой,
 Как демоны глухонемые
 Ведут беседу меж собой.

И вот опять все потемнело,
 Все стихло в чуткой темноте,
 Как бы таинственно дело
 Решалось там на высоте.

Эти слова о «таинственном деле» ничего другого не означают*, кроме чувства, что в природе есть своя таинственная жизнь (в чем и состоит ее свобода!). Но природа, как это открывается «миру души ночной», есть бездна, страшная нам именно потому, что в природе идет своя таинственная жизнь, жертвами которой мы являемся. «Непонятная мука» есть в природе (она как-то связана с «таинственным делом» в ней), и все горе наше в том, что мы лишь бессильные свидетели этой муки, этой жизни природы. Все это входит в нас через «понятный сердцу язык», но разум обнять этого не может. Но почему же ветер ночной может разбудить «уснувшие бури»? Очевидно, это не **личные бури** — ведь «под ними хаос шевелится», хаос не личный, а космический. Если в ночную пору «все во мне, и я во всем», то тут нет места пробуждению личных «уснувших бурь» — сама ведь личность эфемерна («пустое самообольщение»). Все это варианты на тему имперсонализма.

Чудесные стихи Тютчева касаются и личных переживаний его, но в них нет никаких откровений, никаких интуиций. То же, что мы приводили до сих пор, вскрывает философские мотивы в интуициях Тютчева. Постараемся их формулировать.

Справедливо и верно было сказано (особенно хорошо Франком) о «космическом чувстве» у Тютчева. Да, он глубоко чувствовал жизнь природы, угадывая какое-то «таинственное дело» в ней, куда проникнуть нам не дано. Обычно из этого космического чувства у Тютчева выводят и его восприятие призрачности нашего «я»; Франк, например, говорит о «космизации» души у него, о разложении того непосредственного восприятия, которое дано нам всем. Но соотношение космического сознания и настойчивой мысли о призрачности нашего *я* у Тютчева надо понимать как раз в **обратном порядке**: из имперсонализма, и только из него и вытекает у Тютчева его потребность «слияния» с космосом. Любопытно, что нигде у Тютчева нет и намека на загробную жизнь нашего *я*, уже явно независимую от космоса. Тютчев представляет единственный пример в мировой литературе незамечания метафизической глубины в нашем *я* — для него оно пусто, призрачно, и есть чистое «самообольщение». Это, конечно, не то разложение по-

* Вл. Соловьев и здесь усмотрел «злое движение» мирового хаоса.

нения «я», которое с такой силой в английской философии развивал Юм, это есть нечувствие метафизической тайны в каждой человеческой индивидуальности. Вероятно, оттого так и любил Тютчева Толстой, все учение которого вытекает из его имперсонализма. Заметим тут же, что романтизм (и немецкий, и английский, тем более французский), наоборот, заняты всегда именно темой о тайне, скрытой в нашем «я». У Тютчева же из его имперсонализма и вытекает и «жажда самоуничтожения» и недоверие к «я». Его известные строки:

Все во мне, и я во всем, —

надо бы читать в обратном порядке: так сильно ощущение у него, что его «я» во «всем» (т. е. что в нашем я нет ни грана подлинной индивидуальности, своеобразия и метафизической силы), — что понятно из этого, что

Все во мне.

Только исходя из имперсонализма Тютчева можно надлежаще понять его космизм, а пресловутая «космизация души» есть только вывод из пустоты и призрачности нашего «я». Между прочим здесь ясно, насколько все восприятие бытия у Тютчева было чуждо христианству с его глубоким чувством метафизической природы нашего я, — что и закрепляется в учении о всеобщем воскресении.

Остается вопрос — считать ли имперсонализм Тютчева его индивидуальным свойством или мы тут стоим перед какой-то особенностью русской души (той самой, которую нарочито подчеркивал Толстой в Каратаеве)? Но на этот вопрос некоторый свет бросает дальнейшее развитие русской поэзии, — о чем речь впереди.

1959

